

На первый взгляд, статья Ю. В. Бромлея и М. В. Крюкова «Этнография: место в системе наук, школы, методы», особенно ее первая часть, где речь идет о взаимоотношении этнографии с другими общественными (отчасти и естественными) науками, может показаться возвратом к вопросам, которые в свое время уже обсуждались. Это, собственно, так и есть. Вместе с тем нельзя не признать целесообразным периодическое возвращение к фундаментальным проблемам теории любой науки. Конечно, это может быть плодотворным только в том случае, если наука переживает какой-то новый этап своего развития. Для этнографии последнее несомненно.

Дело, разумеется, не просто в том, что международный коллектив авторов (из ГДР и СССР) в настоящее время готовит многотомный словарь этнографических понятий и терминов. С конца 1960-х годов развивалась фронтальная разработка теории этноса, составляющая ныне теоретический фундамент общей этнографии. Именно это и позволило в наши дни приняться за столь многотрудную работу, цель которой подвести некоторые итоги и вместе с тем сблизить терминологическую (=понятийную, категориальную) традицию двух стран. Советская этнография, несомненно, находится в начале нового этапа своего развития, и это требует возвращения к некоторым существенным вопросам теории, уточнения тех решений, которые предлагались в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

В частности, несомненно требует большего внимания, чем ей оказывалось до сих пор, история как русской (российской) и советской, так и зарубежной этнографии. Огромная, заслуживающая всяческого уважения работа, сделанная в этой области нашим выдающимся этнографом, покойным С. А. Токаревским, уже не может удовлетворить на современном этапе. Дело не только в том, что «История зарубежной этнографии» была им доведена до начала 60-х годов XX в., а «История русской этнографии» до 1917 г. Отдельные статьи в сборниках серии «Очерки по истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», в «Советской этнографии» и др. не покрывают этого «белого пятна», которое становится все более обширным. К сожалению, капитальные тома С. А. Токарева устарели и в концептуальном отношении. Сказалось это в известной мере и на обсуждаемой статье.

Коснемся кратко только некоторых вопросов. Прежде всего остаются не дифференцированными термины «школа» и «направление». Очень часто они употребляются как синонимы. В статье Ю. В. Бромлея и М. В. Крюкова об этом тоже говорится. Вместе с тем по принятому в этой статье словоупотреблению, «школа» оказывается более широким понятием, чем «направление» (ср. на с. 50 «локальные направления»). Между тем, если стремиться при посредстве словаря содействовать более стабильному употреблению этих терминов, то естественнее было бы «школу» понимать как взаимоотношения «учителя» и «учеников». Так, например, ученые, вышедшие из школы Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораз («ленинградская школа» 1920-х годов), далеко не всегда в своей дальнейшей научной деятельности держались созданного ими направления. Или другой пример. О крупнейшем русском фольклористе второй половины XIX в. А. Н. Веселовском с полным основанием говорили, что он «из школы Ф. И. Буслаева», однако мы знаем, как далеко ушел он от Буслаева к концу XIX века. Пережив влияние диффузионизма, позже — эволюционизма, он создал свою «школу» и свое направление, к которому примыкали ученые, не бывшие его учениками, т. е. не прошедшие его «школу». Нам представляется такое словоупотребление более естественным для русского языка.

В обсуждаемой статье из русских ученых упоминаются только К. Д. Кавелин, В. Н. Тенишев и Н. И. Могилянский и притом довольно случайно (К. Д. Кавелин в известном смысле можно считать предшественником «теории пережитков» или, как она называлась в России, «теории живой старины», В. Н. Тенишева — предшественником функциональной школы и т. д.). Между тем более интенсивное обращение к истории русской этнографии важно было бы не только для работы над двуязычным словарем этнографических понятий и терминов (даже в ГДР, не говоря уже о других странах зарубежной Европы и Америки, исключая славянские страны, крайне слабо знают историю русской этнографии). Знакомство с нею, безусловно, могло бы пригодиться и для размышлений об истории понимания предмета этнографии и ее методов. Разумеется, в одной краткой статье невозможно объять необъятное. Но учет опыта русской этнографии все-таки вопрос не дополнительный и не факультативный. Тем более что роль, которая отводится в концепции, развитой авторами статьи, Н. И. Могилянскому и тем более С. М. Широкогорову как в известной мере предшественнику современной этнографии была бы понятнее читателям.

Далее, то, что говорится о прямых предшественниках современной этнографии весьма интересно. Соображения, которые высказаны по этому поводу в обсуждаемой статье, заслуживают самого пристального внимания. Однако, вероятно, следует четче дифференцировать этот вопрос и четче определить, когда и как формируется этнография как наука. Видимо, в этнографы следует зачислять далеко не только тех, кто понимал предмет этнографии так, как понимаем его мы. Иначе появляется опасность (она уже обозначилась в статье), что значительная часть этнографов прошлого окажется за пределами истории этнографии (ср. с. 49 — Л. Г. Морган, с. 50 — Э. Тайлор), даже признанные классики этнографии. История любой науки, на наш взгляд, должна в первую очередь строиться на установлении того, как менялось представление об объекте, предмете, границах предметной области, познавательных и общественных функций этой области знания. Когда речь идет об общественных науках, объект которых — исторически развивающаяся социальная действительность, то концепция их развития, видимо, должна была бы быть построена на определенном фундаменте: как менялись только что перечисленные представления в зависимости от изменения экономической, социальной и культурной ситуации в мире, в изучаемой стране, у изучаемого народа. Кроме того, вероятно, необходимо также учитывать, какие «соседи» были у науки, которая нас интересует. Так, историю советской этнографии 1930—1950-х годов трудно понять без установления весьма важного факта — в эти десятилетия у нас в стране не существовала конкретная социология современности. Этнография не могла в тот период и на том этапе своего развития не стремиться хоть как-нибудь заполнить эту пустоту. В настоящее время ситуация изменилась. С другой стороны, в наше время нет комплексной науки, которая занималась бы историей материальной и духовной культуры на всех ее уровнях, включая и традиционно-бытовые слои культуры. Поэтому этнография, как бы она ни сосредоточивала свои усилия на проблемах этногенеза, этнической истории, современных этнических процессах, при всем том, что она оценивает исследование этнических функций традиционно-бытовой культуры как свою первостепенную задачу, не может не заниматься историей и типологией (или исторической типологией), морфологией, технологией и т. д. традиционно-бытовой культуры, так как рискует потерять один из своих важнейших источников. Если подобные исследования прекратятся, образуется очень существенный пробел в системе общественных наук. Пока же серьезных претендентов на такого рода исследования, кроме этнографов, в Советском Союзе нет. Заметим попутно, что в разных странах зарубежной Европы в разной мере, но уже сформировалась на почве исторической науки такая ее отрасль, как комплексная история культуры, включая историю бытовой культуры. Здесь можно было бы упомянуть пользующуюся значительной популярностью французскую группу «Annales»

историко-бытовые изыскания историков ГДР — Ю. Кучинский и др., историков и этнографов ФРГ и скандинавских стран (так называемая Kulturfixierungstheorie) и др. У нас подобная тенденция только намечается (ср. «Историю культуры Древней Руси», весьма содержательную серию по истории русской культуры МГУ, выполненную при участии этнографов, интересные работы сибирских историков — учеников М. М. Громыко и Н. А. Миненко и др.) и до сих пор еще не получила теоретического обоснования.

Во всем остальном я целиком разделяю точку зрения авторов статьи на соотношение этнографии и других общественных наук и считаю, как уже говорилось, своевременным обсуждение этой проблемы.

В заключение еще одно соображение, касающееся метода «прямого наблюдения». Авторы вполне сочувственно цитируют статью М. Н. Шмелевой, в которой она подчеркивает значение этого метода. Но надо иметь в виду, что в ней говорилось о полевой работе, связанной с проблемами этнографии современности. Даже если этнограф применяет метод анкетирования и количественно-статистические методы, ему необходимо дополнить и проверить (верифицировать) результаты логического анализа добытых данных прямым наблюдением и сопоставлением экспертных оценок. Заметим, что подобная проблема стоит и перед современной этносоциологией.

Если же полевая работа ведется с целью реконструкции традиционной-бытовой культуры того времени, когда она еще не размывалась процессами урбанизации, то далеко не всегда (или, точнее, все реже и реже) может быть применен метод прямого наблюдения по той естественной причине, что большинство комплексов традиционной материальной и духовной культуры не функционирует в быту и можно наблюдать только некоторые их пережиточные элементы (разумеется, в разной мере в различных слоях современной бытовой культуры). Приходится усиленно пользоваться методом опроса, опираясь на память старшего поколения. Все более важным подспорьем при этом становятся музейные экспонаты, иконографические и документальные источники. Этнография сравнительно недавнего прошлого (с начала XX в. до конца 1920-х — начала 1930-х годов) все более смыкается с исторической этнографией. Именно в связи с различием ситуаций, с которыми сталкиваются современные полевые исследователи, ставящие перед собой разные задачи (этнография современности и историческая этнография), «Советская этнография» начинала в свое время дискуссию о методах работы не одной, а двумя статьями (С. И. Вайнштейна и М. И. Шмелевой).